Бродский Иосиф 76 29.01.98

Судьбы

ПОЭТ В РОССИИ

Два года назад 28 января не стало Иосифа Бродского, нобелевского лауреата, русского поэта, американского гражданина. Иосиф Бродский – символ целой эпохи и ее антипод. Феномен Бродского невозможно осмыслить до конца, как и понятия "поэзия", "гениальность", "свобода". Но размышлять над ним будут всегда, пока человек стремится понять мир и самого себя. Молодым интеллектуалам конца 90-х годов Иосиф Бродский видится таким.

Яна ДЖИН

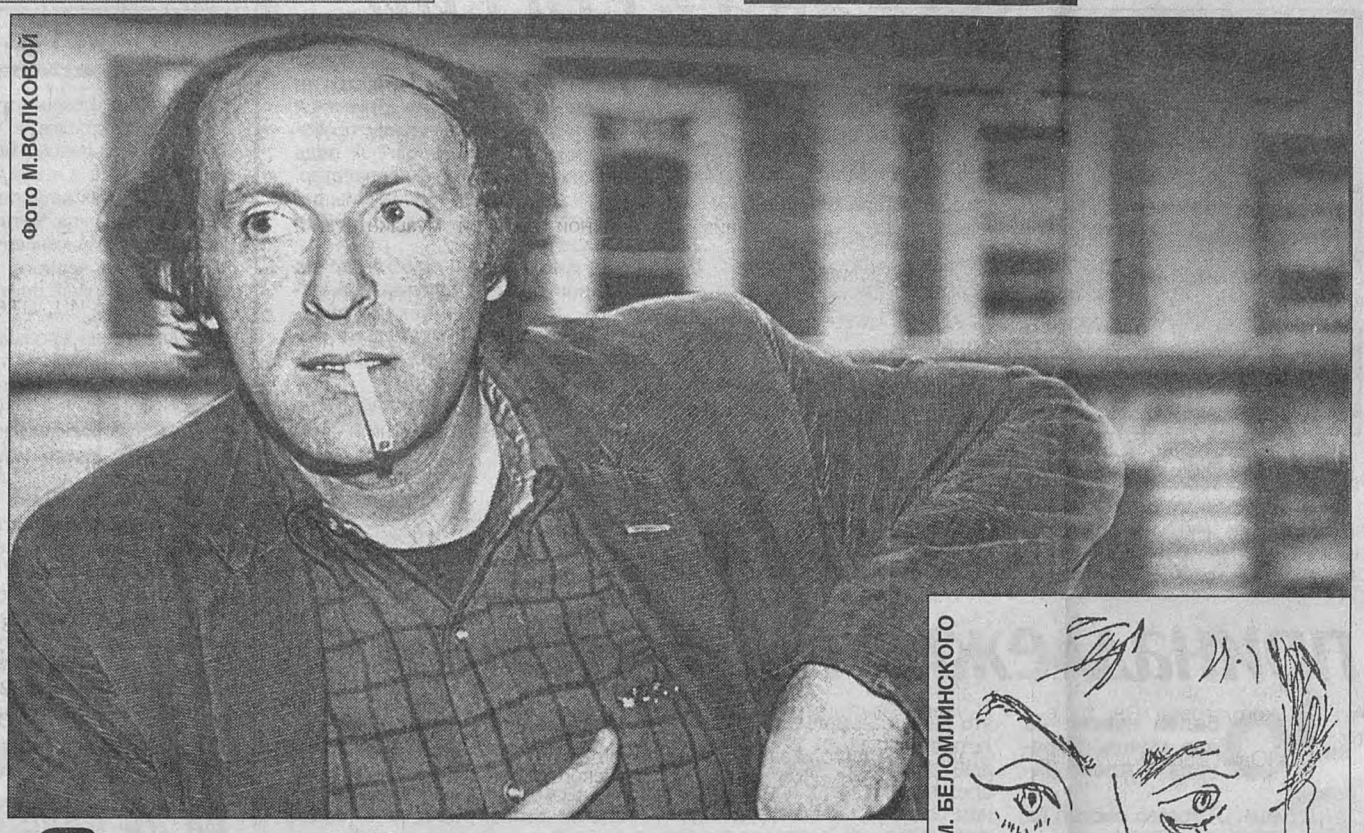

Фото М.ВОЛКОВОЙ

Эхо

Культура. – 1998 – 29 янв. – с. 5.

из следующего поколения,

или Еще о Иосифе Бродском

Шарж М. БЕЛОМЛИНСКОГО

В последний раз я видела его в скверном настроении. Он клял бюрократов, подавленных его "романтической" идеей о массовом издании стихов старых классиков для распродажи в супермаркетах по нижайшей цене или даже для бесплатного распространения. Как распространяются в американских гостиницах Ветхий и Новый Завет. Боюсь, что его раздражение я не уняла: "А действительно, почему бы вам, новому классику, хлопотать не о "ветхих" поэтах, а о молодых, не-классиках? Данте – не только классик, но и пророк, и не нуждается в помощи. Даже тут, в Америке...".

Хотя исключено, чтобы бюрократы задумывались о нуждах пророков, о Данте они, видимо, говорили Бродскому такую же чушь. "Новый классик" возразил мне посему гневно: "После пророка Данте *молодые* не вправе написать и строчки!"

Из всего, что мне привелось от него слышать, это была единственная фраза, которую родил не интеллект, а – эмоция. Я ответила тем же: "Что за чушь!"

Бродский отреагировал не так как, реагируют пророки, – рассмеялся. Причем, нарочито громко, *типично* по-американски, — что в моем восприятии особенно надежно отдаляет любого человека не только от пророка...

Впрочем, *неподражаемость* (при любой активности) тоже не гарантирует приближения к оному. Говоря о поверхностных приметах, куда большее отношение к делу имеет библейское наблюдение, согласно которому "несть пророки в отечестве своем". В Америке, как и в России, Бродского знает в моем поколении каждый поэт, но вряд ли кто-нибудь считает "своим".

Хотя незадолго до кончины Бродский в течение 12 месяцев официально именовался в США "национальным стихотворцем", американцы не признают его "своим" по той же причине, которая его российским землякам мешала усмотреть в нем "своего" поэта. Елена Шварц, например, из родного ему Петербурга доказывала, что поэзия Бродского чужда "русскому поэтическому мышлению", которое, мол, ура, тяготеет к глубокому драматизму чувств. Она была бы права даже в том случае, если бы заключенную в кавычки фразу начала словом "американскому", хотя американское поэтическое мышление к глубокому драматизму чувств, увы, не тяготеет.

Поэзия Бродского этнически абсолютно нейтральна, как этнически абсолютно нейтрален интеллектуальный процесс. И именно этим открывается список наиболее неповерхностных примет его *исключительнейшей* поэзии.

Сегодня уже ясно, что, на каком бы языке ни было суждено писать ему, его сочинения не оказались бы ни на йоту более или менее "национальными", чем сочинения ветхозаветных поэтов-пророков, которые, быть может, и представляют собой истинно родную для него "этнофилософскую" среду.

Считается, что истинный поэт – это прежде всего новый стиль. Есть он, конечно, и у Бродского, но никто до него из истинных поэтов не смел или не сумел так решительно "пренебречь" стилем во имя смысла. Его уникальный вклад в поэзию заключается в том парадоксальном обстоятельстве, что благодаря этому "пренебрежению" стилем, "что" и "как" в стихах Бродского *фундаментально* нерасчленимы.

Пожалуй, никому из стихотворцев равного ему дарования не удавалось "застигнуть" эти два принципа в их истинном, изначальном, единстве; два принципа, которые – особенно в поэзии – определились в качестве самостоятельных из-за того, что, как правило, сказанное бывает либо недостаточно глубоким, либо недостаточно прекрасным. Как правило же, поэзии не хватает именно интеллектуальной глубины, в результате чего дело выглядит таким образом, будто поэты охотно жертвуют "что" ради "как".

В нынешней России немало блестящих поэтов, книги которых страдают общим недостатком: через пару страниц все выпестованные в них строчки сливаются в одно сплошное сочинение, не имеющее *самостоятельно значимого* интеллектуального адреса.

Западные (в частности, американские) поэты вознамерились "вернуть" поэзии не востребованный ею интеллектуализм. Они изгнали из нее рифму, которая из-за ограниченности запасов ограничивает, дескать, и возможности выражения мысли. Результат оказался плачевным. За редчайшими исключениями, высказанная мысль не столь, увы, глубока, чтобы обойтись без "прикрас".

Как и все на свете, поэзия была допущена в мир на условиях соблюдения ею особых "правил существования", к числу которых относится наличие рифмы. Во времени любая конституция обрастает, разумеется, поправками, обусловленными тем, что стоит обычно за словом "прогресс". Принципиальные сомнения, однако, вызывает всегда не закономерность поправок, а такое толкование слова "прогресс", которое превращает его в синоним слова "совершенствование". Разница между рифмованной поэзией и "свободной" сопоставима с разницей между итальянским палаццо эпохи Возрождения и эмоционально выхолощенным сооружением для торговли ширпотребом в современном американском пригороде.

Любопытно, что поэзию Бродского многие из его российских коллег считают чуждой именно из-за ее эмоциональной нейтральности. Ее "недостаточность" они усматривают в стиле, который и вправду лишен декоративности и эмоциональности эпитетов.

Согласно русской поэтической традиции, поэт не вправе перестать *удивляться* происходящему вокруг него (возмущаться, восторгаться и т.д). Помимо прочего, русская поэзия прославилась "охами" и "ахами": "Что делать?" (в сложившейся исторической обстановке), "Кто виноват?" (в вышеупомянутой обстановке), "Кому на Руси (в той же обстановке) жить хорошо?" и т.д.

Удивляться Бродский перестал в двадцать два года, когда написал стихотворение, пугающее сверхисторической, метафизической, досказанностью: "Все чуждо в доме новому жильцу..." Он рано отказался от вопросов, которые изрекают не для того, чтобы на них отвечать. И рано перестал поражаться тому, что бытие исполнено страданий. В тридцать он понимает, что единственно неотъемлемым правом каждого существа и единственно неизменным условием жизни является страдание. ("Человек – есть испытатель боли...").

Но вместо того чтобы размышлять о страдании вообще (а тем более сокрушаться, что оно выпало и на его долю), он вторгается на неисхоженную территорию, где поэзия перестает задаваться безответными вопросами и начинает поставлять болезненные ответы.

На "неисхоженной" земле человек начинает созерцать себя в неискусственном освещении – в чем, собственно, и заключается цель творчества. "Немыслимый" в поэзии, но естественный для Бродского отказ от услуг символизма, размывающего контуры реальности, готовность заглянуть правде в глаза – сколь бы "холодной", а потому болезненной и "отчуждающей" она ни была – делает его уникальным стихотворцем.

Фраза "заглянуть правде в глаза" обрела сегодня столь невыносимую легкость, что люди "забыли", сколь невыносимо трудна эта задача.

Отказавшись подражать всеизбавительной легкости поэтического щебета (поэзия – "щебет" на фоне иной "словесной руды"), Бродский говорит с нами "человечьим" голосом – и говорит как раз не о вечном, а о *каждодневном* бытии, о котором ему, как и всем, известно больше, чем о рае. Он говорит о бытии в его не-"поэтическом", самом наглядном и неопосредованном проявлении, а не в форме буйных сновидений (увлажненных излияниями) или утонченных страхов (навеянных возлияниями).

Я вычитала где-то, что наиболее цитируемой мыслью из всех когда-либо изреченных человеком является фраза из *Нового* Завета: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".

Какая превосходная тема для психоаналитиков! Действительно, почему это мы, люди, вспоминаем эти слова чаще, чем любые другие? Ответ, мне кажется, не прибавит нам чести. После всего, что было сказано о Христе, нам, оказывается, чаще всего вспоминается распятый на кресте еврей, отдавший жизнь за наши грехи. Этот кадр является косвенным приглашением возлагать грехи на плечи "другого" при том приемлемом условии, что мы уверуем в проповедь этого "другого".

Возможно ли выдать нашей цивилизации более позорную характеристику?! Особенно, если вспомнить, что люди являются продуктом не только или не столько их верований, сколько деяний: согласно *Ветхому* Завету, вначале было как раз не Слово, не верование, а деяние, Творение.

Деяния – вот что действительно в конечном счете значимо, и именно ими, деяниями, поэзия Бродского и "занимается". А это "занятие" приводит ее к выводу о неостановимом истончении человеческой совести. О продолжающемся, теологически освященном наступлении лицемерия. ("Только с горем я чувствую солидарность..."). Кому из нас было бы приятно вспомнить, что наша совесть истончилась?! Кому хотелось бы запомнить наизусть эти строчки?!

И вот тут самое время подчеркнуть факт кровного родства Бродского с поэтами-пророками из *Ветхого* Завета. Вспомнить не с тем, чтобы просто назвать его философскую родню, а с тем, чтобы точнее понять его творчество.

"Зло существует, чтоб с ним бороться, а не взвешивать на коромысле", – проговорился 26-летний поэт в "Речи о пролитом молоке". А борьба со злом – куда более тяжкая задача, чем "отпущение грехов", которые предлагают оболгавшие Христа теологи. Благостно-снисходительное похлопывание по плечу согрешившего человека или его собственная воскресная молитва, отпускающая ему наработанные в течение недели грехи, углубляют порчу как в самой жизни человека, так и в его творчестве.

Тот же Данте, кстати, тоже сопротивлялся злу, но он сопротивлялся ему в рамках теологической доктрины *своего* времени. Бродский же руководствуется ветхозаветной "метафизикой на все времена". Подобно Данте, он выходит за традиционные "пределы" поэзии в область философствования и пророчествования, но на этой "чуждой" для поэтов территории он вдобавок преодолевает и основополагающие принципы *нашего* времени, отбирая из них для своего "поэтического употребления" только те, которые "дотянули" до нас с ветхозаветных страниц и времен. Те, которые отстоялись в качестве "незыблемых истин".

Поиск литературного аналога мира, смоделированного в поэзии Бродского, приводит к книгам Льва Толстого, *прозаика*, которому привелось выйти за рамки созданной им художественной реальности и обернуться настоящим... пророком, то есть гражданином вселенной, остро ощущающим нравственную ответственность за ее судьбу. С ветхозаветных времен, однако, пророков клянут прежде всего за "чрезмерную трезвость" и бескомпромиссность, – качества, которые многим представляются атрибутами надменности.

Между тем и крайняя философская трезвость, и крайняя же нравственная "несговорчивость" Толстого являются как раз проявлениями не только мудрости его, но и подлинной кротости. Впрочем, кто он в конце концов есть, Лев Толстой, чтобы отпускать нам грехи?! Тем более что отпущение или неотпущение нам наших грехов – удел не уверенных в собственной силе людей с истерической душой, среди которых можно обнаружить, разумеется, и больших художников.

Понятно, что именно последние и вызывают у публики несравненно более глубокую симпатию. Лучшим примером так называемого "безответственного" художника-гения является Достоевский, который на фоне Толстого слишком уж тороплив в деле отпущения нам наших грехов. Несравненно более популярный, чем Толстой, свое "ныне отпущаеши" Достоевский объясняет нам просто и легко: человеку свойственно стремиться к страданию и к сотворению зла... Подобная позиция, однако, и форсирует обычно приступы метафизической истерии.

Между тем "хладнокровность" Бродского восходит к тому тоже очевидному факту, что с истерией его метафизика не рифмуется. И не признает хаоса. Бродский сказал как-то, что наиболее важным считает вопрос о том, что же именно проделывает с человеческим существом Время? Как именно Оно формирует или деформирует его?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, поэт решился на беспрецедентное – заговорил языком самого Времени. Уйдя от укоренившегося в поэзии "говора", он заговорил "собственным" тоном – тоном маятника, хронометра. Для того чтобы понять действительность и себя, Бродский, в отличие от общепринятого в поэзии, ушел не в глубь собственной персоны, а, наоборот, выступил из нее. "Что, в сущности, и есть автопортрет – шаг в сторону от собственного тела..." ("На выставке Карла Вейлинга").

Покинув себя и вступив в диалог со Временем, он тем самым выработал собственную дикцию. Эта дикция, абсолютная *эмоциональная нейтральность*, оказалась важнейшим и до гениальности "простым" открытием поэта. Открытием, подсказанным, однако, не нынешним или вчерашним, или позавчерашним моментом, а тем "остановленным мгновением", которое поэтому и метафизически прекрасно. В противовес утверждениям газет, популярной психологии и большинства поэтов, Время никогда еще не повышало голоса. Даже в наше столетие, прославившее себя, как принято считать, кровожадностью и жесткостью. Принято это считать, кстати, несправедливо, ибо любое из предыдущих столетий может оспорить у уходящего право называться кровожадным и жестоким.

Время ни разу еще не только не исторгало воплей, но никогда не сбивалось и на шепот, хотя, правда, во все эпохи чуткое ухо могло распознать в Его абсолютно ровном и эмоционально-нейтральном шипении одно и то же чистосердечное предупреждение: Ничего от Меня не ждите... Не ждите ничего и от конца Моего...

Иосиф Бродский, конечно, обладал чутким слухом и, конечно же, был достаточно трезвым мыслителем, чтобы знать: не "славно умереть родился человек", как воображал Ломоносов. Между рождением и смертью лежит нечто, именуемое словом "жизнь", и это "нечто" не менее важно, чем рождение или смерть. Одно из главных дел, занимавших Бродского между рождением и смертью, одно из главных назначений поэзии он усматривал в том, о чем писал в 26 лет, – в сопротивлении злу.

Носителем этого зла является Время, и единственное доступное Бродскому оружие, способное, по его мнению, посрамить Время, это Слово. Он расплатился с Ним, со Временем, Его же собственной монетой – хладнокровностью, трезвостью, сдержанностью и, главное, готовностью смириться со всем. Но смирился он со всем именно за счет того, что никакая драма, личная или метафизическая, не застает его врасплох и не вызывает у него удивления. Всякий раз он как бы напоминает себе, что именно в смущенном человеке Время усматривает для себя легкую добычу.

Абсолютная эмоциональная нейтральность, присуща голосу Бродского не только тогда, когда он поднимает его против Врага, знающего цену невозмутимости, не только в борьбе со Временем.

Даже в лирике Бродский, единственный из поэтов, добился "невозможного" в поэзии – самоустранения, и его кончина положила конец принципиально неподражаемому способу поэтического письма. Неподражаемому в той же принципиальной мере, в какой невозможно подражать пророку. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается главный урок, преподанный им новому поколению стихотворцев.

Не так давно в Вашингтоне состоялся вечер его памяти. Хотя выступавшие говорили по-английски, аудитория состояла из русскоязычной публики. И вся – из людей одного с Бродским поколения. Когда я завершила вечер тою же фразой, которою закончила предыдущий пассаж, ко мне подошла одна из почитательниц поэта и сказала по-английски с тяжелым русским акцентом: "Вы правы: Иосиф был пророк, и подражать ему невозможно... После него нельзя и писать! К сказанному пророком добавлять нечего..."

"Что за чушь!" – буркнула я в ответ. Она сперва растерялась, но быстро опомнилась и произнесла некую фразу. Фразы я не расслышала, ибо слух мой забил *неподражаемо* звонкий хохот Иосифа Александровича Бродского. На чистом русском языке, без акцента.

ВАШИНГТОН

Фото Л.ЛУБЯНИЦКОГО

Слева направо: А.Галич, Г.Вишневская, М.Барышников, М.Ростропович, И.Бродский